

ПРЕДИСЛОВИЕ

Если вы сравнительно молодой человек, впервые взяли в руки эту книгу, то вам, может быть, будет интересно узнать, что в Советском Союзе она была двадцать лет запрещенной, но читаемой и — достаточно широко. Распространялась исключительно в Самиздате, а затем в Тамиздате. Самиздатом занимались добровольные распространители, которые на свой страх и риск перепечатывали на пишущих машинках понравившуюся им рукопись, передавали своим знакомым, а те опять садились за пишущую машинку. Так тираж множился совершенно стихийно и иногда доходил до значительных чисел. Разумеется, каждый экземпляр прочитывался многими людьми, так что количество читателей значительно превосходило число отпечатанных текстов. Именно это имел в виду Александр Галич, написавший в одной из своих песен: «„Эрика“ (марка немецкой пишущей машинки. — *Прим. В. В.*) берет четыре копии, вот и все и этого достаточно». При этом все участники самиздатского процесса, писатели, издатели и читатели не только никакой материальной выгоды из своей деятельности не извлекали, но рисковали собственным благополучием, а в некоторых случаях даже свободой. Постепенно Самиздат стал вытесняться Тамиздатом. Произве-

дения, ходившие по рукам внутри страны, каким-то образом попадали на Запад, там уже издавались в виде нормальных книг и затем возвращались в нашу страну, куда их завозили (опять-таки рискуя нарваться на серьезные неприятности) туристы, журналисты, дипломаты, спортсмены, моряки и прочие люди, имевшие возможность пересекать отечественные рубежи. Поскольку книга считалась сатирической, осмеивавшей советские порядки, автор подвергся гонениям и был исключен из Союза советских писателей, изгнан из Советского Союза и лишен советского гражданства. К этому времени книга уже была переведена на три десятка языков, чем автор был доволен, но все-таки ему мечталось, что когда-то придет время, и книга вполне легально будет издана в родной стране и станет широкодоступной его соотечественникам.

Многие авторы этого никогда не дождались, но автору «Чонкина» повезло. В декабре 1988 года вышел номер журнала «Юность» с первыми главами романа, и три с половиной миллиона тиража были мгновенно расхвачены. С тех пор прошло еще четверть века. Эта книга переиздавалась много раз, на хорошей бумаге в красивых обложках, и, конечно, мне это приятно. Но какими бы привлекательными ни были сегодняшние издания, а те самиздатские, на плохой бумаге, не очень умело переплетенные и зачитанные до дыр, вызывают во мне особое чувство. Из сохранившихся у меня тогдашних изданий «Чонкина» мне особенно дороги два машинописных на русском и литовском языках и, имеющее не очень товарный вид, подпольное издание польской «Солидарности». Замечательный поэт Максимилиан Волошин когда-то выразился так: «Почетней

быть твердым наизусть и списываться тайно и украдкой, при жизни быть не книжкой, а тетрадкой». Но все-таки, как говорится, свобода лучше, чем несвобода, и слава богу, что теперь книги можно писать, издавать и читать не тайно и не украдкой; что автор, издавая книгу, рискует только тем, что ее не примет читатель. В этом смысле у книги, которую вы раскрыли, судьба счастливая. Она выжила в суровые годы запретов, но испытание свободой тоже выдержала, чему свидетельство это переиздание, уже не помню, какое по счету. Ее прочли миллионы людей на тридцати пяти языках. Если вам она тоже понравится, то имейте в виду, что вся история жизни и приключений ее героя — солдата Ивана Чонкина — от молодых лет до старости изложена в трех книгах, а это только первая из них. Надеюсь, прочтя ее, вам захочется узнать, что с героем случилось дальше, и вы приобретете всю трилогию.

Владимир Войнович

Часть первая

ВЫНУЖДЕННАЯ ПОСАДКА

1

Было это или не было, теперь уж точно сказать нельзя, потому что случай, с которого началась (и дотянулась до наших дней) вся история, произошел в деревне Красное так давно, что и очевидцев с тех пор почти не осталось. Те, что остались, рассказывают по-разному, а некоторые и вовсе не помнят. Да, по правде сказать, и не такой это случай, чтоб держать его в памяти столько времени. Что касается меня, то я собрал в кучу все, что слышал по данному поводу, и прибавил кое-что от себя, прибавил, может быть, даже больше, чем слышал. В конце концов история эта показалась мне настолько занятной, что я решил изложить ее в письменном виде, а если вам она покажется неинтересной, скучной или даже глупой, так плюньте и считайте, что я ничего не рассказывал.

Произошло это вроде бы перед самой войной, не то в конце мая, не то в начале июня 1941 года — в этих примерно пределах.

Стоял обыкновенный, жаркий, как бывает в это время года, день. Все колхозники были заняты на полевых работах, а Нюра Беляшова, которая служила на почте, прямого отношения к колхозу не имела и была в тот день выходная, копалась на своем огороде — окучивала картошку.

Было так жарко, что, пройдя три ряда из конца в конец огорода, Нюра совсем умиралась. Платье на спине и под мышками взмокло и, подсыхая, становилось белым и жестким от соли. Пот затекал в глаза. Нюра остановилась, чтобы поправить выбившиеся из-под косынки волосы и посмотреть на солнце — скоро ли там обед.

Солнца она не увидела. Большая железная птица с перекошенным клювом, заслонив собой солнце и вообще все небо, падала прямо на Нюру.

— Ай! — в ужасе вскрикнула Нюра и, закрыв лицо руками, замертво повалилась в борозду.

Кабан Борька, рывший землю возле крыльца, отскочил в сторону, но, увидев, что ему ничто не угрожает, вернулся на прежнее место.

Прошло сколько-то времени. Нюра очнулась. Солнце жгло спину. Пахло сухой землей и навозом. Где-то чирикали воробьи и кудахтали куры. Жизнь продолжалась. Нюра открыла глаза и увидела под собой комковатую землю.

«Что ж это я лежу?» — подумала она недоуменно и тут же вспомнила про железную птицу.

Нюра была девушка грамотная. Она иногда читала «Блокнот агитатора», который регулярно выписывал парторг Килин. В «Блокноте» недвусмысленно говорилось, что всяческие суеверия достались нам в наследство от темного прошлого и их надо решительно искоренять. Эта мысль казалась Нюре вполне справедливой. Нюра повернула голову вправо и увидела свое крыльцо и кабана Борьку, который по-прежнему рыл землю. В этом не было ничего сверхъестественного. Борька всегда рыл землю, если находил для этого подходящее место. А если находил неподходящее, тоже рыл. Нюра

повернула голову дальше и увидела чистое голубое небо и желтое слепящее солнце.

Осмелев, Нюра повернула голову влево и снова упала ничком. Страшная птица существовала реально. Она стояла недалеко от Нюриного огорода, широко растопырив большие зеленые крылья.

«Сгинь!» — мысленно приказала Нюра и хотела осенить себя крестным знамением, но креститься, лежа на животе, было неудобно, а подниматься она боялась.

И вдруг ее словно током пронзило: «Так это же аэроплан!» И в самом деле. За железную птицу Нюра приняла обыкновенный самолет У-2, а перекосенным клювом показался ей неподвижно застывший воздушный винт.

Едва перевалив через Нюрину крышу, самолет опустился, пробежал по траве и остановился возле Федьки Решетова, чуть не сбив его правым крылом.

Федька, рыжий мордатый верзила, известный больше под прозвищем Плечевой, косил здесь траву.

Летчик, увидев Плечевого, расстегнул ремни, высунулся из кабины и крикнул:

— Эй, мужик, это что за деревня?

Плечевой несколько не удивился, не испугался и, приблизившись к самолету, охотно объяснил, что деревня называется Красное, а сперва называлась Грязное, а еще в их колхоз входят Клюквино и Ново-Клюквино, но они на той стороне реки, а Старо-Клюквино, хотя и на этой, относится к другому колхозу. Здешний колхоз называется «Красный колос», а тот — имени Ворошилова. В «Ворошилове» за последние два года сменилось три председателя: одного посадили за воровство, другого за растление малолетних, а третий, которого прислали

для укрепления, сперва немного поукреплял, а потом как запил, так ипил до тех пор, пока не пропилил личные вещи и колхозную кассу, и допился до того, что в припадке белой горячки повесился у себя в кабинете, оставив записку, в которой было одно только слово «Эх» с тремя восклицательными знаками. А что это «Эх!!!» могло значить, так никто и не понял. Что касается здешнего председателя, то он хотя тоже пьет без всякого удержу, однако на что-то еще надеется.

Плечевой хотел сообщить летчику еще ряд сведений из жизни окрестных селений, но тут набежал народ.

Первыми подоспели, как водится, пацаны. За ними спешили бабы, которые с детишками, которые беременные, а многие и с детишками и беременные одновременно. Были и такие, у которых один ребяенок за подол цепится, другой за руку, вторая рука держит грудного, а еще один в животе поспекает. К слову сказать, в Красном (да только ли в Красном?) бабы тогда еще рожали охотно и много и всегда были либо беременные, либо только что после родов, а иногда и вроде только что после родов, а уже и опять беременные.

За бабами шкандыбали старики и старухи, а с дальних полей, побросав работу, бежали и остальные колхозники с косами, граблями и тяпками, что придавало этому зрелищу явное сходство с картиной «Восстание крестьян», висевшей в районном клубе.

Нюра, которая все еще лежала у себя в огороде, снова открыла глаза и приподнялась на локте.

«Господи, — сверкнула в мозгу ее тревожная мысль, — я здесь лежу, а люди давно уж глядят».

Спохватившись на свои еще не окрепшие от испуга ноги, она проворно пролезла между жердями в заборе и кинулась к постепенно густевшей толпе. Сзади стояли бабы. Нюра, расталкивая их локтями, стонала:

— Ой, бабы, пустите!

И бабы расступались, потому что по голосу Нюры понимали, что ей край надо пробиться вперед.

Потом пошел слой мужиков. Нюра растолкала и их, говоря:

— Ой, мужики, пустите!

И наконец очутилась в первом ряду. Она увидела совсем близко самолет с широкой масляной полосой по всему фюзеляжу и летчика в коричневой кожаной куртке, который, прислонившись к крылу, растерянно глядел на подступавший народ и вертел на пальце потертый шлем с дымчатыми очками.

Рядом с Нюрой стоял Плечевой. Он посмотрел на нее сверху вниз, засмеялся и сказал ласково:

— Ты гляди, Нюрка, живая. А я думал, тебе уже все. Я ведь эроплан первый заметил, да. Я тут у бугра сено косил, когда гляжу: летит. И в аккурат, Нюрка, на твою крышу, на трубу прямо, да. Ну, думаю, сейчас он ее счесет.

— Бреешь ты все, — сказал Николай Курзов, стоявший от Плечевого справа.

Плечевой споткнулся на полуслове, посмотрел на Николая тоже сверху вниз, поскольку был выше на целую голову, и, подумав, сказал:

— Брешет собака. А я говорю. А ты свою варезку закрой, да, и не раскрывай, пока я тебе не дам разрешения. Понял? Не то я тебе на язык наступлю.

После этого он поглядел на народ, подмигнул летчику и, оставшись доволен произведенным впечатлением, продолжал дальше:

— Эроплан, Нюрка, от твоей трубы прошел вот на вершок максима. А минима и того менее. А если б он твою трубу зацепил, так мы бы тебя завтра уже обмывали, да. Я бы не пошел, а Колька Курзов пошел бы. Он до женского тела любопытный. Его прошлый год в Долгове в милиции три дня продержали за то, что он в женскую баню залез и под лавкой сидел, да.

Все засмеялись, хотя знали, что это неправда, что Плечевой это придумал сейчас. А когда перестали смеяться, Степан Луков спросил:

— Плечевой, а Плечевой, а ты когда увидал, что эроплан за трубу зацепится, испужался ай нет?

Плечевой презрительно сморщился, хотел сплюнуть, да некуда было — всюду народ. Он проглотил слюну и сказал:

— А чего мне пужаться? Эроплан не мой и труба не моя. Кабы моя была, может, спужался б.

В это время один из мальчишек, крутившихся тут же под ногами у взрослых, изловчился и ша-рахнул по крылу палкой, отчего крыло загудело, как барабан.

— Ты что делаешь? — заорал на мальчишку летчик.

Мальчишка испуганно юркнул в толпу, но потом снова вылез. Палку, однако, выбросил.

Плечевой, послушав, какой звук издало крыло, покачал головой и спросил у летчика со скрытым ехидством:

— Свиной кожей обтянуто?

Летчик ответил:

— Перкалью.

— А чего это?

— Такая вещь, — объяснил летчик. — Материя.

— Чудно́, — сказал Плечевой. — А я думал, он весь из железа.

— Кабы из железа, — влез опять Курзов, — его бы мотор в высоту не поднял.

— В высоту поднимает не мотор, а подъемная сила, — сказал известный своей ученостью кладовщик Гладышев.

За образованность Гладышева все уважали, однако в этих его словах усомнились.

Бабы этих разговоров не слушали, у них была своя тема. Они разглядывали летчика в упор, не стесняясь его присутствием, словно он был неодушевленным предметом, и вслух обсуждали достоинства его туалета.

— Кожанка, бабы, — чистый хром, — утверждала Тайка Горшкова. — Да еще со складками. Для их, видать, хрома не жалеют.

Нинка Курзова возразила:

— Это не хром, а шевро.

— Ой, не могу! — возмутилась Тайка. — Какое ж шевро? Шевро-то с пупырышками.

— И это с пупырышками.

— А где ж тут пупырышки?

— А ты пощупай — увидишь, — сказала Нинка.

Тайка с сомнением посмотрела на летчика и сказала:

— Я бы пощупала, да он, наверно, щекотки боится.

Летчик смутился и покраснел, потому что не знал, как на это все реагировать.

Его спас председатель Голубев, который подъехал к месту происшествия на двуколке.

Само происшествие застало Голубева в тот момент, когда он вместе с одноруким счетоводом Вол-

ковым проверял бабу Дуню на предмет самогонварения. Результаты проверки были налицо: председатель слезал с двуколки с особой осторожностью, он долго нащупывал носком сапога железную скобу, подвешенную на проволоке вместо подножки.

В последнее время пил председатель часто и много, не хуже того, что повесился в Старо-Клюквине. Одни считали, что он пил, потому что пьяница, другие находили, что по семейным причинам. Семья у председателя была большая: жена, постоянно страдавшая почками, и шестеро детей, которые вечно ходили грязные, вечно дрались между собой и много ели.

Все это было бы еще не так страшно, но, как на грех, дела в колхозе шли плохо. То есть не так чтобы очень плохо, можно было бы даже сказать — хорошо, но с каждым годом все хуже и хуже.

Поначалу, когда от каждой избы всё стаскивали в одну кучу, оно выглядело внушительно и хозяйствовать над этим было приятно, а потом кое-кто спохватился и пошел тащить обратно, хотя обратно-то не давали. И председатель себя чувствовал вроде той бабы, которую посадили на кучу барахла — сторожить. Окружили ее с разных сторон, в разные стороны тащат. Одного за руку схватит, другой в это время из-под нее еще что-нибудь высьмыкнет, она к тому, этот убежал. Что ты будешь делать?

Председатель тяжело переживал создавшееся положение, не понимая, что не он один виноват в том.

Он все время ждал, что вот приедет какая-нибудь инспекция и ревизия, и тогда он получит за все и сполна. Но пока что все обходилось. Из рай-

она наезжали иногда разные ревизоры, инспекторы и инструкторы, пили вместе с ним водку, закусывали салом и яйцами, подписывали командировочные удостоверения и уезжали подобиру-поздорову. Председатель даже перестал их бояться, но, будучи человеком от природы неглупым, понимал, что вечно так продолжаться не может и что нагрянет когда-нибудь Высшая Наиответственнойшая Инспекция и скажет свое последнее слово.

Поэтому, узнав, что за околицей, возле дома Нюры Беляшовой, приземлился самолет, Голубев ничуть не удивился. Он понял, что час расплаты настал, и приготовился встретить его мужественно и достойно. Счетоводу Волкову он приказал собрать членов правления, а сам, пожевав чаю, чтобы хоть чуть-чуть убить запах, сел в двуколку и поехал к месту посадки самолета, поехал навстречу своей судьбе.

При его появлении толпа расступилась, образовав между ним и летчиком живой коридор. По этому коридору председатель довольно твердой походкой прошел к летчику и издалека протянул ему руку.

— Голубев Иван Тимофеевич, председатель колхоза, — четко назвал он себя, стараясь дышать на всякий случай в сторону.

— Лейтенант Мелешко, — представился летчик.

Председателя несколько смутило, что представитель Высшей Инспекции такой молодой и в таком скромном чине, но он виду не подал и сказал:

— Очень приятно. Чем могу служить?

— Да я и сам не знаю, — сказал летчик. — У меня маслопровод лопнул и мотор заклинило. Пришлось вот сесть на вынужденную.

- По заданию? — уточнил председатель.
- Какое задание? — сказал летчик. — Я вам говорю — на вынужденную. Мотор заклинило.
- «Давай, давай, заливай больше», — подумал про себя Иван Тимофеевич, а вслух сказал:
- Если чего с мотором, так это можно помочь. Степан, — обратился он к Лукову, — ты бы пошуровал, чего там такое. Он у нас на тракторе работает, — объяснил он летчику. — Любую машину разберет и опять соберет.
- Ломать — не строить, — подтвердил Луков и, достав из бокового кармана своей промасленной куртки разводной гаечный ключ, решительно двинулся к самолету.
- Э-э, не надо, — поспешно остановил его летчик. — Это не трактор, а летательный аппарат.
- Разницы нет, — все еще надеялся Луков. — Что там гайки, что здесь. В одну сторону крутишь — закручиваешь, в другую сторону крутишь — откручиваешь.
- Вам надо было не здесь садиться, — сказал председатель, — а возле Старо-Клюквина. Там и МТС и МТМ — враз бы все починили.
- Когда садишься на вынужденную, — терпеливо объяснил летчик, — выбирать не приходится. Увидел — поле не засеяно, и прижался.
- Травопольной системы придерживаемся, потому и не засеяно, — сказал председатель, оправдываясь. — Может, хотите осмотреть поля или проверить документацию? Прощу в контору.
- Да зачем мне ваша контора! — рассердился летчик, видя, что председатель к чему-то клонит, а к чему — непонятно. — Хотя подождите. В конторе телефон есть? Мне позвонить надо.

— Чего ж сразу звонить? — обиделся Голубев. — Вы бы сперва посмотрели, что к чему, с народом бы поговорили.

— Послушайте, — взмолился летчик, — что вы мне голову морочите? Зачем мне говорить с народом? Мне с начальством поговорить надо.

«Во какой разговор пошел, — отметил про себя Голубев. — На „вы“ и без матюгов. И с народом говорить не хочет, а прямо с начальством».

— Дело ваше, — сказал он обреченно. — Только я думаю, с народом поговорить никогда не мешает. Народ, он все видит и все знает. Кто сюда приезжал, и кто чего говорил, и кто кулаком стучал по столу. А чего там говорить! — Он махнул рукой и пригласил к себе в двуколку: — Садитесь, отвезу. Звоните сколько хотите.

Колхозники снова расступились. Голубев услужливо посадил летчика в двуколку, потом взгромоздился сам. При этом рессора с его стороны до отказа прогнулась.

2

Дежурный по части капитан Завгородний в растегнутой гимнастерке и давно не чищенных сапогах, изнывая от жары, сидел на крыльце штаба и наблюдал за тем, что происходило перед входом в казарму, где размещалась комендантская рота.

А происходило там вот что. Красноармеец последнего года службы Иван Чонкин, маленький, кривоногий, в сбившейся под ремнем гимнастерке, в пилотке, надвинутой на большие красные уши, и в сползающих обмотках, стоял навытяжку перед старшиной роты Песковым и испуганно глядел на него воспаленными от солнца глазами.

Старшина, упитанный розовощекий блондин, сидел, развалясь, на скамеечке из некрашенных досок и, положив ногу на ногу, покуривал папироску.

— Ложись! — негромко, словно бы нехотя командовал старшина, и Чонкин послушно рухнул на землю.

— Отставить! — (Чонкин вскочил на ноги.) — Ложись! Отставить! Ложись! Товарищ капитан, — крикнул старшина Завгороднему. — Вы не скажете, сколько там на ваших золотых?

Капитан посмотрел на свои большие часы Кировского завода (не золотые, конечно, старшина пошутил) и лениво ответил:

— Половина одиннадцатого.

— Такая рань, — посетовал старшина, — а жара уже, хоть помирай. — Он повернулся к Чонкину. — Отставить! Ложись! Отставить!

На крыльцо вышел дневальный Алимов.

— Товарищ старшина, — закричал он, — вас к телефону!

— Кто? — спросил старшина, недовольно оглядываясь.

— Не знаю, товарищ старшина. Голос такой хриплый, будто простуженный.

— Спроси — кто?

Дневальный скрылся в дверях, старшина повернулся к Чонкину:

— Ложись! Отставить! Ложись!

Дневальный вернулся, подошел к скамейке и, с участием глядя на распластанного в пыли Чонкина, доложил:

— Товарищ старшина, из бани звонят. Спрашивают: мыло сами будете получать или пришлете кого?

— Ты же видишь, я занят, — сдерживаясь, сказал старшина. — Скажи Трофимовичу — пусть получит. — И снова к Чонкину: — Отставить! Ложись! Отставить! Ложись! Отставить!

— Слышь, старшина, — полюбопытствовал Завгородний. — А за что ты его?

— Да он, товарищ капитан, разгильдяй, — охотно объяснил старшина и снова положил Чонкина. — Ложись! Службу уже кончает, а приветствовать не научился. Отставить! Вместо того чтоб как положено честь отдавать, пальцы растопыренные к уху приставит и идет не строевым шагом, а как на прогулочке. Ложись! — Старшина достал из кармана платок и вытер вспотевшую шею. — Устанешь с ними, товарищ капитан. Возишься, воспитываешь, нервы тратишь, а толку чуть. Отставить!

— А ты его мимо столба погоняй, — предложил капитан. — Пусть пройдет десять раз строевым шагом туда и обратно и поприветствует.

— Это можно, — сказал старшина и заплевал папироску. — Это вы правильно, товарищ капитан, говорите. Чонкин, ты слышал, что сказал капитан?

Чонкин стоял перед ним, тяжело дыша, и ничего не отвечал.

— А вид какой! Весь в пыли, лицо грязное, не боец, а одно недоразумение. Десять раз туда и сюда, равнение на столб, шагом... — старшина выдержал паузу, — марш!

— Вот так, — оживился капитан. — Старшина, прикажи: пусть носок тянет получше, сорок сантиметров от земли. Эх, разгильдяй!

А старшина, ободренный поддержкой капитана, командовал:

— Выше ногу. Руку согнуть в локте, пальцы к виску. Я тебя научу приветствовать командиров. Кругом... марш!

В это время в коридоре штаба зазвонил телефон. Завгородний покосился на него, но не встал, уходить не хотелось.

Он закричал:

— Старшина, ты посмотри, у него обмотка разматалась. Он же сейчас запутается и упадет. Прямо со смеху умрешь. И зачем только такое чучело в армию берут, а, старшина?

А телефон в коридоре звонил все настойчивее и громче. Завгородний неохотно поднялся и вошел в штаб.

— Слушаю, капитан Завгородний, — вяло сказал он в трубку.

Расстояние между деревней Красное и местом расположения части составляло километров сто двадцать, а может быть, больше, слышимость была отвратительная, голос лейтенанта Мелешко забивали какой-то треск, музыка, и капитан Завгородний с трудом понял, в чем дело. Сначала он даже не придал сообщению лейтенанта должного значения и вознамерился вернуться к прерванному зрелищу, но по дороге от телефона к дверям до него дошел смысл того, что он только что услышал. И, осознав случившееся, он застегнул ворот гимнастерки, отер сапог о сапог и пошел докладывать начальнику штаба.

Постучав кулаком в дверь (начальник штаба был несколько глуховат), Завгородний, не дожидаясь ответа, приоткрыл ее и, переступив порог, закричал:

— Разрешите войти, товарищ майор?

— Не разрешаю, — тихо сказал майор, не поднимая головы от своих бумажек.

Но Завгородний не обратил на его слова никакого внимания, он не помнил случая, чтобы начальник штаба кому-либо что-либо разрешил.

— Разрешите доложить, товарищ майор?

— Не разрешаю. — Майор поднял голову от бумаг. — Что это у вас за вид, капитан! Небриты, пуговицы и сапоги не чищены.

— Пошел ты... — вполголоса сказал капитан и весело поглядел майору в глаза.

По губам капитана начштаба понял примерный смысл сказанного, но не был уверен в этом, поскольку вообще не мог себе представить, чтобы младший по званию дерзил старшему. Поэтому он сделал вид, что не понял капитана, и продолжал свое:

— Если вам не на что купить крем в военторге, я вам могу подарить баночку.

— Спасибо, товарищ майор, — вежливо сказал Завгородний. — Разрешите доложить: у лейтенанта Мелешко отказал мотор, и он сел на вынужденную.

— Куда сел? — не понял начштаба.

— На землю.

— Перестаньте острить. Я вас спрашиваю, где именно приземлился Мелешко.

— Возле деревни Красное.

Начштаба подошел к висевшей на стене карте, отыскал на ней Красное.

— Что же делать? — Он растерянно посмотрел на Завгороднего.

Тот пожал плечами:

— Вы начальник, вам виднее. По-моему, надо доложить командиру полка.

ОГЛАВЛЕНИЕ

Предисловие	5
Часть первая	
ВЫНУЖДЕННАЯ ПОСАДКА	8
Часть вторая	
ПРОИСХОЖДЕНИЕ ЧЕЛОВЕКА	128